

Григорий Боровиков



КУРГАН

1

На маленькой станции, где поезд стоял две минуты, они вышли из вагона и зашагали полевой дорогой, покрытой мягкой горячей пылью. Вокруг раскинулась степь с поспевающей, тронутой желтизной пшеницей, с голубыми овсами, с зарослями кукурузы, шуршащей на ветру. В белом небе пылало солнце, в жарких потоках воздуха, иссыхая, кудрявились придорожные травы.

Впереди, прихрамывая и опираясь на палку, шагал Кузьма. Длинная костлявая фигура его согнулась под тяжестью заплечного мешка, иссеченного вдоль и поперек морщинами, розовела тень от соломенной шляпы. За Кузьмой уныло плелся сын его Митя, семнадцатилетний тонкий юноша, тоже с мешком на спине.

Долго шли они молча, не встретив ни одного человека. Только мухи да слепни вились над ними, с лёта вонзая в потные шеи и руки жгучие жала.

Кузьма жадно вглядывался в низинки и бугорки, ища давние, но незабытые приметы... Обернулся на ходу, спросил:

— Устал?

— Ничего, — вяло ответил Митя, дернув шеей и запустив руки под заплечные ремни тяжелого мешка.

Он жалел о несостоявшейся поездке с товарищами на Черное море и досадовал на отца, задумавшего этот поход по суховейным приволжским степям. Считая каникулы пропащими, он сейчас хотел одного: выкупаться и уснуть где-нибудь в прохладе.

— Раскис, — произнес Кузьма без осуждения и без сочувствия.

Митя молчал. А Кузьма стал вслух вспоминать, прерывая слова глубокими вздохами и шумными выдохами:

— В такую вот жару шли мы тут на передовую... В бязевом белье... Гимнастерка и брюки плотные, непродуваемые... Солдат увешан, как ишак: шинель, винтовка, патронташ, лопатка, противогаз... в вещевом мешке «энзе» продуктов, смена белья, запас патронов и всякая солдатская мелочь — шило, мыло и табак... А на ногах сапоги пудовые из кирзы, с толстенными резиновыми подошвами, ноги в них горят... Ход маршевый, скорый, надо идти со всеми одним общим дыхом. А с неба немецкие самолеты сваливаются, из пулеметов поливают... Ну, тогда бежишь в пшеницу, плюхнешься в землю носом, отдышаться не можешь, грудь разрывается, сердце выпрыгнуть хочет...

Сын молчит. Перед ним качается хромающая фигура отца.

Так идут они и час, и два... Изредка вспорхнет перепелка и камнем упадет в пшеницу да ястреб парит кругами. Безлюдье, тишина, зной.

К полудню дошли до дубовой рощи.

— Вот тут отдохнем, — сказал отец, скидывая шляпу и рубаху и подставляя прохладным струйкам воздуха потное тело. — По-едем, значит, полежим, переждем самую-то жару. Ты пока полежи. Да разуйся и ноги повыше задери, к стволу прислони, кровь-то и отольет. Я — мигом.

Вывув из мешка старый, с вмятинами, солдатский котелок, Кузьма ушел вниз по скату оврага. Сын молча посмотрел ему в худую спину с ходившими под мокрой майкой лопатками, повалился на траву, закрыл глаза. Чуть слышно, дремотно шелестели дубы. Но вот забунчала над ухом пчела, где-то закуковала кукушка, и спать Мите расхотелось.

Митя был тонкий, но уже сильный парень с румяным лицом, с синевато-серыми, как у отца, глазами. Всю зиму он старательно учился, говоря, что летом у него будут последние школьные каникулы, которые надо провести «как следует», потому что на тот год придется сдавать экзамены в институт.

Минувшей зимой он научился курить, стал следить за своей внешностью, не брил жиденькие усы, не стриг волосы на висках, отпуская узенькие бакенбарды. «Взрослый стал», — говорила мать, нежно глядя его по плечу, хотя и не все одобряла в нем; она на-

деялась, что недостатки его — это возрастная болезнь, которая проходит со временем.

Отец когда-то дал обет: если не убьют, побывать в тех местах, где воевал. И вот позвал сына с собой, говоря, что неудобно странствовать одному, тем более что и сердце у него побаливает.

Своего отца Митя находил старомодным и странным. Работая на заводе кузнецом, отец каждое утро вставал в шесть часов по будильнику, брился, умывался, надевал чистую рубашку и не спеша завтракал. Этот утренний распорядок никогда не нарушался. Про завод отец говорил с особым, уважительным чувством, а двенадцатитонный паровой молот, на котором ковал коленчатые валы и шатуны, называл нежно: «Мой молоток». Иногда он приносил заводскую многотиражку, где упоминалось о нем, и клал ее на видном месте, чтобы прочитали дети и жена. Дети не интересовались газетой, и он через несколько дней убирал ее в папку, в которой хранились документы. Сын подшучивал над отцовским «архивом» — «множится семейная реликвия», — на что отец не отвечал, а только хмурился. Сорок пять отцовских лет Митя считал стариковским возрастом. Когда Кузьма был недоволен сыном, то говорил: «Я в твои годы солдатом был, смерти в глаза смотрел...»

Зашуршала трава, из-за кустов появился отец с котелком воды. Лицо у него было оживленное, сияющее.

— На-ко, попей.

Пока сын тянул сквозь зубы студеной воду, Кузьма вспоминал:

— Жив родник-то! В этой роще мы двое суток после похода отдыхали, готовились в бой вступать. Немцы каждый лесок бомбили. Ну и нам доставалось. Вон углубление. Тут землянка была. В ней я ночевал с товарищем. Ишь, зарубцевалось, травой заросло. Кто не знает, так и не подумает. — Он обвел молодо синевшими глазами вокруг себя, улыбнулся, отчего морщины на лице стали резче. — Ну, давай ноги мыть. На походе первое всего — ноги. Их надо содержать в чистоте, уметь обуваться, тогда потертостей и мозолей не будет.

Поливая из котелка, он вымыл ноги, вытер чистой тряпкой, крякнул:

— Сразу полегчало.

Снова сходил за водой. Митя не послушался отца, сполоснул только руки и лицо. Сидели, наслаждаясь гулявшим в тени деревьев сквознячком, ели хлеб с сыром, печеные яйца, запивали еду ключевой водой.

— Родник тогда в один миг вычерпали. Деревнями шли, так колодцы подчистую во фляги переливали. Командиры запрещали, ругались, грозили, мол, колодцы могут быть отравлены. Ну, не остановить было. Жажда, она хуже голода.

Митя слушал вполуха. Наевшись, он с удовольствием растянулся на траве и, одолеваемый сном, не слышал отца.

— Тут товарищ мой погиб. Налетел разведчик — «рама» и,

видно, на всякий случай построчил из пулемета. Пуля товарища моего прошла. Насквозь. А меня не задело, хоть и рядом лежали. Вот ведь как бывает.

Кузьма ненадолго умолкает.

— Хороший был товарищ. Мы с ним из одного котелка, вот из этого, пили-ели, под одной плащ-палаткой спали... Тут на опушке его похоронили, вместе с двумя другими.

Посмотрев на сына, который сладко спал с открытым ртом, Кузьма тихо побрел к опушке. Трава приятно знобила и щекотала босые ноги. Память оживляла прошлое ясно. Вот опушка рощи с одиноким дубом на отшибе, у самого пшеничного поля. Тогда тоже стояла пшеница, истоптанная солдатскими сапогами. Могила, помнилось ему, недалеко от дуба. Когда полк уходил на передовую, все поворачивали головы на могилу в тени дуба. Дуб уцелел, стал шире, выше, могучее...

Он обогнул дерево. Под ногами хрустели в траве прошлогодние желуди. Больно кольнуло что-то жесткое. Нагнулся: пряжка от солдатского ремня, позеленевшая, изъеденная ржавчиной. Положил в карман.

Могила не было. Он ходил вокруг дуба, все увеличивая круги, будто раскручивал спираль. Нет, не видно бугорка. Может, осел могильный холмик, потом все сровнялось, заросло? Или перенесли прах на сельское кладбище, на площадь?

Огорченный, вернулся к спящему сыну, прилег. Ныла покалеченная нога, болели спина и натертые лямками плечи. Постепенно Кузьма стал забываться.

2

К вечеру они снова отправились в путь. Теперь солнце грело, но не жгло, и воздух был не белый, а золотистый.

Кузьма передвигался через силу, но не хотел показать свою боль и усталость, бодрился:

— До Грачевой балки дойдем шутя, а там переночуем... Тут, в степях, овраги называют балками. Есть Бирючья балка, Кузнецова, Таловая, еще какие-то, всех уж не помню.

— Тут и шла война?— спросил сын, показывая рукой вокруг себя.

— Тут. Только все дороги были искорежены танками, грузовиками. Везде валялись разбитые машины, пушки, танки, обгорелые, черные. Земля вся ископана, взрыта, истоптана... И трубы. Убирать не успевали. Лежит иной, а глаза-то немые, в небо устремлены. А в небе «рамы», такие самолеты у немцев были, двухфюзеляжные. А над самой землей хищные птицы над трупами пируют.

— Страшно было, отец?

— А как же? Страшно. Но это уж потом... Бывало, в госпитале как вспомнишь про передовую, так озноб по спине... А в бою некогда пугаться — надо действовать.

Митя пытался представить себе отца в его семнадцать лет. Наверно, парень был ничего. Девушкам, должно быть, нравился. Хотя какие там девушки! Семнадцати лет на фронт попал. А потом госпитали. Поправился после ран, на войну не взяли: признали негодным. На завод учеником поступил, стал рабочим, женился. И все! Теперь старый уж человек. Вот и жизнь...

Раздумавшись об отце, он вспомнил товарищей, знакомых девушек из своей школьной компании.купаются в море. А он, Митя, топает по жару. И ради чего? Мог ведь отец поехать до самого памятного ему места на попутной машине по большой дороге, так нет, захотел пешком, по полевым стежкам и по оврагам. Уважил Митя отца, пусть не обижается, только досадно все же.

Распалив свое воображение думами о веселом отдыхе, он почувствовал еще большее озлобление на эту сухую, жаркую степь, на мелкую пыль, проникающую в нос, в уши, в глаза. Ну, воевал тут отец, ну, ранен был, ну, уничтожили тут целую немецко-фашистскую армию. И чего тут смотреть! Ехал бы лучше в дом отдыха.

Но он не сказал этого отцу. Зачем? Изменить ничего уже нельзя.

Когда вышли из дубовой рощи, вдалеке виднелся сиреневый холм. Казалось, он так далек, что до него невозможно дойти. Долго шли, вздымая тяжелыми ногами легкую пыль. Дорога тянулась однообразная, и терялось ощущение движения, будто топтались на одном и том же месте... Тянулось время час за часом, и очертания холма постепенно становились четче, в нем все резче прорисовывались густо-синие впадины и бурые взлобки. К вечеру пологий скат холма с высохшей травой шуршал под ногами путников.

Кузьма оживился необыкновенно, вертелся по сторонам, потом решительно свернул с дороги и бодро зашагал по краю балки, вскоре раздвоившейся на два русла, а те в свою очередь разделились на новые овраги и овражки.

— Вот она, Грачева балка!— обрадованно воскликнул Кузьма, снимая мешок и разгибая спину.— Все берега были изрыты: землянки, блиндажи, склады, щели укрытия. А тут — окопы. Найдут ли мой окоп? Хотя бы один, показать тебе, что это такое. Изменилось все, распаханно, засеяно... А где человек не привел землю в порядок, она сама зарастила свои раны. Природа залечила, дала жизнь. Она, жизнь-то, идет своим чередом, ее не остановишь. Ей только не надо мешать.— Кузьма повертелся, потоптался.— Это самое место.

Близ балки высился омет прошлогодней соломы, ржавый от времени.

— Вот и постель нам готова,— Кузьма показал на омет.— Выспимся, а завтра будем в городе.

Солнце медленно уходило к далекому лиловому горизонту. От

омета лежала на земле тень. Она не давала прохлады, но в ней отдыхали глаза от солнечного блеска.

Привалясь к соломе, из которой не выветрился теплый хлебный запах, они некоторое время отдыхали, не шевелясь, не разговаривая, а когда солнце село, поужинали. Весь запас воды выпили. Митя страдал от жажды и сплевывал тягучую слюну.

— Потерпи, — сказал Кузьма и ушел с котелком по балке.

Отец принес полный котелок воды, белесоватой, будто жидкий меловой раствор.

— Освежись-ко!

— Это что за гадость?

— Вода тут такая. Мы пили. Солдату без питья — никак нельзя. Еще без табаку плохо. С подвозом воды трудно было, так сами добывали. Всю балку изрыли ямками. За ночь ямки наполнялись. Ну всем не хватало. Попей, попробуй.

Взяв из рук отца котелок, Митя долго смотрел на мутную воду, осторожно глотнул и резко отстранился.

— Соленая!

— Да, солоноватая. Мы ей рады были, другой-то по несколько дней иногда не видели.

Отец сказал это весело, а Митя удивился: «И чего он умиляется?»

— Из-за воды головы клали, — продолжал отец. — В километре отсюда есть пруд при ферме, для водопоя овец. Тем прудом завладели немцы. Ну, с водой нас до того допекло, что комдив приказал отбить пруд. Приказано было нашему батальону. Атаковали. Неудачно. Потеряли людей. Командира батальона ранило, а комиссара убило. На другой день полком атаковали. Отбили пруд. Обеспечили кухни, напились. А умыться — где там! — Он поднес котелок ко рту, отпил немного, почмокал. — Она ничего, право, жажду утоляет. Вот испил ее — как будто опять солдатом на войне оказался...

На лице Кузьмы не угасала странная улыбка растерянности и счастья, глаза гуще налились синью, заблестели возбужденно.

— Тебя тут ранило? — спросил Митя.

— Здесь легкое ранение получил, а тяжелое на кургане, в городе.

Фронтową жизнь со всеми опасностями, лишениями, смертью представить себе Митя не мог: ему не хватало воображения. Он узнал лишь вкус соленой воды. Не мог он понять отца, перемен в его настроении — от печали к восторженности, от нервного возбуждения к успокоенности. В сумерках, когда улеглись на верху омета спать, отец то и дело садился, оглядывался на все стороны, нетерпеливо ждал чего-то.

Утром Кузьма повел балками, без дорог и тропинок. Непаханная возле балок земля скупо поросла жесткой травой. В редкую

поросль серо-зеленого типчака с колосистыми метелками вплетался ползучий мятлик, тянулся к солнцу длинностебельный тонконог, робко выглядывали голубовато-розовые цветки шалфея. Буйно кудрявилась сизая, остро пахучая полынь. Седым дымом струился над землей ковыль. По оврагам кое-где росли мелкий дубняк, дикая груша, татарский клен да прутняк ветвистый.

Временами Кузьма останавливался, шурился, вглядываясь в плоскую местность, потом показывал палкой:

— По этим балкам мы отступали к городу. А город горел. Всю ночь пламя и дым.

Митя усмехнулся:

— Отступали... гордиться нечем.

— Гитлеровскую армию мы разбили... этим гордимся. Все мое поколение гордится. Да и не только мое.

Любил Кузьма с похвальбой говорить о своем поколении.

— Ваше поколение!— восклицал Митя.— Оно какое? До того как стало взрослым, до того как стало способным устраивать мир, было уже отформовано вашими отцами.— Говорил Митя чужими, где-то услышанными или вычитанными словами.

— Ну и что же?— спрашивал отец и, не дождавшись ответа, продолжал:— Мы и свое добавляли к отцовскому и вам передаем. А вы к нашему добавите свое. Так она, жизнь-то, и катится по ухабистой дороге. Понял?

— Сейчас не ваше время,— заученно отвечал Митя.— Ты, отец, пережил свой век. Не физически, а морально.

— Занятно! Где это ты вычитал?

— Все так говорят.

— Все? Ну-ну!

— Наше поколение больше знает.

— Правда, но это наша заслуга. Мы своей кровью дали вам возможность учиться. Я в твои годы воевал, своих сверстников хоронил, сам смерти в глаза не раз заглядывал, знаю, какая она. Да, учиться мне пришлось мало, в вечерней школе, после работы.

— Где учат чему-нибудь и как-нибудь,— попробовал сострить Митя, но осекся под строгим окриком отца:

— Не скаль зубы! Слышь!

Лицо отца сделалось бледно-серым и незнакомо страшным...

Кузьма, взбудораженный воспоминаниями, не мог молчать и все говорил и говорил:

— Эту балку немцы простреливали. Головы поднять нельзя было. Наш взвод отрезанным от своих оказался. И выпало мне пробраться к комбату с донесением от нашего командира. Больше трех часов через балку полз. Переползешь на шаг и лежишь, затаишься, будто убитый. Чтобы снайпер не стал в тебя стрелять. А из автоматов-то пули рядышком — вжик! вжик!.. И вдруг — самолет над балкой. Сбросил кассету, она в воздухе раскрылась, а из нее сотни осколочных бомб. Рвутся на земле, осколки с визгом

подпрыгивают. И кажется, все — в тебя, в тебя... Ну, обошлось, вылежал, не вскочил со страху, не побежал, а то бы снайперы срезали. До меня двое уже полегли, не выдержали, поторопились. Немного поцарапало и меня: семнадцать осколков из меня вынули.

Митя хорошо знал шрамы на отцовском теле.

— Как до того вон берега дополз, в чувство немного пришел: значит, жив... а то все в каком-то тумане был, сам не свой. Думал, концы отдаю... Донесение доставил.

Он провел ладонью по лицу, вздохнул.

— Всего не расскажешь. Пошли!

Некоторое время шагали молча. Митя вдруг представил себя лежащим под пулями и бомбами. У него сжалось сердце и пробежала холодная дрожь по спине — от лопаток до поясницы.

4

Утро только началось, а Кузьма был уже на ногах. Ночью стояла духота, в окно врывался теплый ветер, трепал занавески, обдувал постель, но не освежал. И сна не было — была дремота, такая тонкая, что рвалась при малейшем звуке.

Тихо, чтобы не разбудить сына, разметавшегося в сладком сне, Кузьма вынул из мешка костюм и, перекинув его через руку, осторожно вышел в коридор, шепотом попросил у сонной дежурной уют и долго наглаживал пиджак и брюки. Потом отнес костюм к себе в комнату и бережно повесил на спинку стула. Рубашка была в пакете и оказалась почти немятой, выходные ботинки, завернутые в газету, сохранили блеск. Наконец он достал две медали, обер их и прицепил к пиджаку.

Радио донесло бой кремлевских часов. Студенческое общежитие, превращенное на время в приют приезжих туристов, постепенно оживало: хлопали двери, слышались шаги, кашель.

Когда Кузьма и Митя пришли в буфет, там была уже очередь. Молодые парни и девушки выделялись среди пожилых людей небрежностью в одежде.

Бывшего солдата это огорчало. «Зачем они так? — думал он. — Пойдут такими неряхами по святым местам. Нет, мы были иными». Напротив сидел Митя. Он не носил длинных волос, но защищал моду, ссылаясь на знаменитых поэтов, писателей и художников прошлого: они, мол, тоже носили длинные волосы. Отец не спорил, но нынешних длинноволосых не любил. «Те-то были знамениты не волосами, а умом, талантом, а теперешние? — И он махал рукой. — Эх!..»

Митя, как и многие парни, суетившиеся в буфете, был в парусиновых брюках, броско простроченных, утыканных металлическими заклепками и с картинкой на заднем кармане. На ногах запыленные, испятнанные машинным маслом кеды. Такая одежда сына казалась Кузьме неподобающей, но говорить об этом он считал бесполезным занятием.

А сын думал об отце, о праздничной одежде его, о торжественности в каждом движении, о собранности и подтянутости, стыдливо отмечая про себя: «Две медали — только и всего. Лучше бы уж не выставлял их напоказ».

После завтрака, когда они вышли на улицу, в воздухе уже пахло горячей сухостью и не остывшим за ночь влажным после полива асфальтом. По изогнутой широкой улице, с которой виднелась в переулках Волга, катились автомашины. Людей было мало, и новые высокие дома выглядели непривычно молчаливыми в этом безлюдье.

— Погоди, отец, — бросил Митя, вдруг возвращаясь назад, в общежитие.

Спустя четверть часа он выбежал переодетый в белую рубашку с короткими рукавами, в серые брюки и новенькие туфли.

Сделав вид, что он не заметил этой перемены, Кузьма скомандовал:

— Пошли!

На большой площади, с зеленым парком посередине, штыком вонзился в высоту четырехгранный каменный обелиск, словно выросший из братской могилы, на которой пестрели свежие, яркие цветы. По углам могилы стояли по команде «смирно» мальчики с пионерскими галстуками и автоматами на груди. На лицах часовых почетного караула — строгая торжественность.

— Видишь? — тихо спросил Кузьма, принимая военную выправку и снимая шляпу.

— Красиво, — тоже тихо ответил Митя, проникаясь общим настроением скорби, с каким люди ступали неслышными шагами, читали имена захороненных, клали цветы.

— Так сказать мало... это знаешь что такое?.. Это... Это... — не найдя нужных слов, отец умолк.

Они молча шли по аллее мимо бронзовых бюстов героев войны, обходя детей, играющих под присмотром мамаш и бабушек. Потом сели в экскурсионный автобус. Экскурсовод рассказывала сначала о том, что происходило в дни обороны города, потом о том, что тут построено после войны. Город был совсем новый, молодой, обильно оснащенный колоннами и фигурными фронтонами, обсаженный не успевшими войти в силу деревцами. Автобус останавливался у танков и пушек на бетонных площадках с надписью о том, что такого-то октября 1942 года тут проходила линия обороны.

Автобус наконец привез экскурсантов к кургану.

Никто не знает подлинной истории этого кургана, поднявшего круглую главу свою на степном берегу Волги. В легендах, уходящих в далекие туманные века, рассказывается, что курган этот насыпан русскими воинами на братской могиле павших в бою с

полчищем золотоордынского хана. У подножия кургана триста лет тому назад вырос вдоль Волги бойкий город.

Но вот опять нагрянули на русскую землю чужеземцы. Уже не с луками и стрелами, не с мечами и копьями пришли они, а с танками, самолетами, пушками. В великой битве город был разрушен, но не пал. Сотни тысяч врагов нашли свою смерть на подступах к городу и на его улицах.

Сто сорок суток шла кровопролитная битва за курган. Большой город, видимый с его вершины, лежал в развалинах и дымился, черной пеленой застилая небо, в котором вороньем кружились вражеские самолеты. Огненным шквалом низвергался на защитников кургана раскаленный металл. Взрывы встряхивали землю, где давно уже не оставалось ни живого кустика, ни былинки, где все было взрыто, переверочено и перемолото, где люди заживо сгорали, умирали от ран, но не сдавались и не отступали...

Прошли годы... Город возродился. И курган по-прежнему выситя над степным простором, над городом, припавшим к свежим струям Волги.

С какой бы стороны ни приближался путник к кургану, издалека видна на вершине его четкая на фоне неба, изваянная из бронзы женщина. Одна рука ее воздета к небу и как бы зовет вперед, а другая, с обнаженным мечом, занесена для удара.

Прежде чем приблизиться к этой бронзовой женщине, надо подняться со стороны Волги по гранитным ступеням мимо остатков стены, выросшей из земли, с наскоро выцарапанными словами «Стоять насмерть», мимо мощной фигуры бойца, обнаженного по пояс и напряженно ждущего встречи с врагом, мимо скульптуры матери, скорбящей над павшим в бою сыном.

Во имя вечной, нетленной памяти народной о тех, кто оросил своей горячей кровью сухую землю кургана, во имя мужества и стойкости духа отдавших свою жизнь за Родину сооружен благодарными руками живущих этот памятник как назидание, как поветение грядущим поколениям учиться подвигу...

Тишину братских могил, место вечного упокоения семи тысяч двухсот погибших, охраняют, точно часовые, пирамидальные тополя, отражаясь в стекляннo-гладкой воде бассейна, со дна которого смотрят белые облака опрокинутого высокого неба...

Над курганом небесная голубизна и тишина. Птицы поют в молодой роще, посаженной на склонах. Ярko горит зелень газонов, и брызгами крови пылают цветы.

Нескончаем поток паломников к священной земле. Щепотки этой земли бережно развозятся по всему миру. И слава кургана, распространяясь всюду, где живут люди, рождает новые легенды, сказания, песни, утверждая память о бессмертии духа справедливости...

По каменным ступеням широкой лестницы, что ведет на вершину кургана, поднимались люди. Медлительное молчаливое шествие как бы напоминало о том, что в святом месте суетливость непростительна.

В пестрой движущейся толпе шагал по ступеням Кузьма с сыном. Время от времени он останавливался у символических руин, у скульптур, у ярких цветов и стоял в раздумье минуту-другую с поникшей головой. Боясь потревожить строгую печаль отца, Митя стоял тоже неподвижно, чувствуя, как невольно поддается незнакомому прежде настроению слитности с чем-то незримым, но очень значительным. И с каждой минутой, с каждым шагом это чувство завладевало им с новой силой.

В зале Пантеона, в руке из гранита, горел вечный факел. Голубоватое пламя, колеблемое токами воздуха, освещало мраморные стены с золотыми буквами. Тысячи и тысячи погибших врублены в мрамор. Лилась скорбная музыка...

Звуки печали то чуть слышались, прозрачно-грустные, то мощно и возвышенно рокотали под каменным потолком, сотрясая воздух, то переходили в тоску, пронзающую сердце. Припав к стене головой, стоял, опираясь на костыль, одноногий мужчина. Закрыв лицо руками, он плакал, и сильные плечи его вздрагивали.

— Это не турист, — тихо сказал Кузьма сыну прерывающимся голосом. — Это паломник... участник боев.

Кузьма тоже плакал. По морщинистым обветренным щекам скатывались слезы. Он не стыдился их и не вытирал.

Обойдя все памятники, они остановились на склоне кургана, откуда виднелся город и позади него серо-синеватая Волга, за ней узкая каемка прибрежного леса, серебристые мачты электролиний, а дальше в желтоватом тумане тонула ровная степь.

Под молодым тополем была теплая жиденькая тень, и отец с сыном укрылись в ней от солнца.

— Деревья посадили, цветы, — задумчиво произнес Кузьма. — Тут только полынь росла, житняк да верблюжья колючка... Окопы были, блиндажи... теперь все засыпано, выровнено, украшено... Но я помню каждую морщинку на этом кургане... чувствую телом каждый бугорок, хранивший меня от смерти... Помню каждый час каждого дня. А дней было немало...

Он замолчал. Было тихо. Только доносилось шарканье ног да воробьиная стайка с веселым чириканьем перелетала с дерева на дерево. С реки донесло гудок парохода. Митя вдруг увидел отца по-новому. На отмякшем и подобревшем лице странным блеском горели глаза. Такой взгляд бывает у людей, прикоснувшихся к чему-то заветному, не всем доступному и потому дорогому. Во взгляде отца, в повороте головы, в каждом движении сухого тела была сила и твердая решимость. Казалось, скажи ему, что надо сейчас снова тут лечь с автоматом в руках, — и он ляжет.

— Папа, расскажи, как тут все было.

Командир привел их ночью, и они заняли окопы, где еще днем находились другие бойцы, теперь убитые или раненные. Окопы были вырыты на скате, а ниже, там, где подошва кургана переходила в равнину, находились немцы. Оттуда летели мины, пули и били из пушек танки. На вершине кургана стояли два огромных бетонных цилиндра водопроводных фильтров, а между ними примостилось зенитное орудие, время от времени стрелявшее по немецким самолетам.

Кузьма стоял на коленях в неглубоком узком окопе, постреливал в сторону противника. Ожидалась вражеская атака, но прежде должна быть артиллерийская «обработка». Об этом думалось Кузьме недолго и спокойно. Очень донимал запах гари. Горел город, горела сухая трава, горела земля. Едкий горький воздух царапал горло, вызывал чиханье, выжимал слезы.

Пролетели вражеские бомбардировщики.

«В тыл,— подумал Кузьма, провожая их взглядом.— У нас меньше самолетов, меньше танков... Но погодите!»

Впереди взорвалась мина, разбрызгала веером глину. Кузьма успел упасть на дно окопа, услышал, как над головой зашлепали о бруствер осколки, посыпались на него комья земли, песок. Он сел, согнувшись, стараясь сделать свое тело как можно меньше, ждал, что следующая мина попадет в него. Но взрывы слышались где-то дальше, в глубине обороны.

Все чаще гремели орудия. Звуки выстрелов были протяжные, густые, сотрясающие воздух. Снаряды рвались коротко, тяжелым ударом встряхивали землю.

Все было как всегда: минут двадцать, а то и больше немцы вели артподготовку перед атакой. Когда артиллерия прекратила стрельбу, на курган поползли танки. Тяжелые машины двигались не спеша, шаря дулами пушек и постреливая. За танками бежали, пригибаясь, немецкие автоматчики. Обороняющиеся били по танкам из бронебойных ружей и орудий.

Один из танков приближался к Кузьме. Он вырастал на фоне неба тяжелой грохочущей машиной. Кузьма схватил бутылку, молниеносно швырнул на стальную броню. Он успел увидеть растекшееся пламя и опять упал на дно окопа за второй бутылкой.

И тут случилось то, о чем Кузьма слышал, но сам не видел... Танк загрохотал над ним. Гусеницы грызли края окопа, заживо хороня Кузьму. Сознание обожгла мысль о гибели. Еще секунда, две... и гусеницы перемелют его хрупкое тело и завалят землей.. Он, холодея, закрыл глаза и почувствовал тошноту.

Очнувшись от давившей на него тяжести. В ушах звенело, и сквозь этот звон он услышал глухой стук и крики. Сознание вернулось к нему, он вспомнил все случившееся, стал барахтаться, и ему удалось поднять сначала голову, потом руки и наконец высвободить ноги. Протер глаза, осторожно выглянул. В разных местах

кострами горели танки, в дыму и пыли метались люди, захлебывались пулеметы и автоматы.

Атака была отбита. Уже в темноте, когда Кузьма расчистил полуразрушенный окоп и чуть углубил его, принесли обед. Солдат, разливавший из термоса по котелкам суп, рассказывал:

— Пятьдесят фашистских танков подожгли мы сегодня. Не все горят, суки! Некоторые покрыты негоримой броней и работают не на бензине, у них дизельные двигатели, ну и не взрываются.

На другой день и на третий немцы опять рвались на вершину кургана. В воздухе то и дело появлялись десятки пикирующих бомбардировщиков. По кургану, по окрестным местам стреляла тяжелая артиллерия. На берегу Волги загорелись хранилища нефти. Густое пламя бушевало над рекой, а черный столб дыма, клубясь, взвился в небо на километровую высоту. Хлопья сажи осыпали курган. Ветер ворошил черный пепел на земле.

Вал за валом шли на обороняющихся черные танки с белыми крестами на боках, а за ними, как муравьи, наступали тысячи пехотинцев в серо-зеленой одежде.

И опять все атаки были отбиты. Отбивали их и в другие дни.

Но однажды Кузьме и его товарищам командир сказал:

— Немцам удалось прорвать оборону на другом склоне и занять вершину кургана. Нам приказано выбить врага с вершины.

Теперь батальон, в котором был Кузьма, повернулся лицом к вершине кургана. Наступать в гору было трудно. Кузьма потерял счет дням, проведенным в боях на кургане, но это уже не имело значения. Важно было, что он еще жив, даже не ранен.

В тот день, когда казалось, что еще одна атака — и немцы будут выбиты с вершины кургана, он укрывался в парном окопе с солдатом-сибиряком, добродушным и неторопливым. Когда вражеские танки прорвались во фланг русским, оба солдата приготовились встретить их зажигательными бутылками. Один танк был уже совсем близко, и сибиряк выбежал ему навстречу, держа в каждой руке по бутылке. Шальная пуля попала в одну бутылку, и солдата охватило пламя. В пылающей одежде он вскочил на вражеский танк и разбил вторую бутылку.

Ужас стиснул сердце Кузьмы. Он прижался к стенке окопа, зажмурился, чтобы не видеть, как вместе с вражеским танком горит его товарищ... Гудела и стонала от взрывов земля. А Кузьма сидел в окопе, как крот в норе, отрешенный от всего на свете...

Но вот он опомнился. «Что это я?» Машинально поправил каску на голове, проверил патроны в магазине винтовки, крепко ли сидит в ней штык.

Размышлять ему долго не пришлось, потому что в окоп мешком свалился боец, запаренный, с трудом переводивший дыхание, несколько минут лежал ничком неподвижно. Кузьма поднес к его рту флажку с водой, тот глотнул и крикнул осипшим голосом:

— Атака началась.

Боец вылез из окопа. Кузьма, не мешкая, выскочил следом за ним и увидел бегущих на подъем однополчан.

Рядом раздался пронзительный крик:

— Вперед! Ура-а-а!

Кузьма перестал ощущать свое тело, казалось, он не бежал, а летел по воздуху, ничего не видя, и только в ушах шумело до режущей боли... Вдруг его толкнуло в ногу. Пробежав несколько шагов, он упал. Боли не было, он не понял, что ранен, и хотел осмотреть ноги, но в тот миг увидел в двух шагах от себя немца. Немец до плечей высунулся из окопа, припав щекой к автомату, направленному на Кузьму. «Все! Конец!» — мелькнуло в голове Кузьмы.

...Его подобрали в сумерках. Над ним качались тусклые звезды. Кружилась голова. Сознание заволокло туманом. Снова он пришел в себя при ярком электрическом свете, ощутил на лице чьи-то руки, увидел людей в белых халатах. Женщина сказала:

— Совсем еще мальчик.

Потом ему стало очень больно, и он сначала застонал, а скоро стон перешел в крик. Все тот же женский голос звучал ласково:

— Ну, покричи, покричи...

Когда боль прекратилась, он тихо спросил:

— Доктор, нога осталась?

— А что, дорожишь ногой-то?

— А как же, ходить надо.

— Осталась, осталась.

Его перевязывали, и было уже хорошо, покойно, если не считать шума в висках и слабости во всем теле. А на соседнем столе за простыней, служившей перегородкой, оперировали другого раненого, который отчаянно матерился. Кузьма узнал по голосу ефрейтора из своего отделения и окликнул его:

— Кокорев, тебя тоже ранило?

— Ой... шарахнуло, — и последовала отборная ругань. — А кто спрашивает?..

Когда Кузьму вынесли на носилках из операционной и положили на солому, застеленную ватным одеялом, старшина медсанбата подал ему стакан водки.

— Прими послеоперационную.

Кузьма выпил, поел и моментально уснул, забыв про боли. Они напомнили о себе позднее, когда снова делали рассечение ран и прочищали их... Полтора года провел он в госпиталях. Его признали негодным к строевой службе, и воевать ему больше не пришлось...

— Жутко все это, отец!

— Конечно. — Кузьма шумно вздохнул, не торопясь стал закуривать и после первой затяжки продолжал: — Не верь тому, кто скажет, что храбрый смерти не боится. Все ее боятся, но некоторые презирают.

— А герои?

— Героями делаются не по намерению, что ли. Наверное, никто не думает: сделаю я то-то и буду героем. Вот тот, который сам сгорел и танк немецкий сжег... За минуту до этого ему и в голову, думаю, это не приходило. А как загорелся сам, тут и сработал внутренний механизм, в душе, значит,— прыгнуть на танк, все равно погибать. Тут уж о своей жизни не думается, все в тебе собирается в одну точку: бить врага... Может, эти мысли мне потом пришли, не знаю. Знаю только одно: надо было стрелять, надо было идти в атаку... И мы делали это.

— Пойдем, жарко очень, устал я что-то.

Уже на ходу он с сожалением сказал:

— Надо было оставить несколько окопов и блиндажей... Для наглядности вам, молодым.

8

Оркестр играл веселое, играл слишком громко. Это, видимо, нравилось черному, лаково блестящему негру, танцевавшему с белой русоволосой девушкой. Негр улыбался, красные вывернутые губы его растянулись по широкому лицу, большие выпуклые глаза с желтыми белками влажнели, длинные с розовыми ладонями руки крепко прижимали девушку. Пара иностранцев — толстячок средних лет с безволосой головой и поджарая старуха — лихо выламывались в твисте.

Сидя за бутылкой пива, Митя смотрел на этих незнакомых людей, собравшихся в ресторане, и чувствовал себя непривычно. Оставив отца отдыхать, он побродил по городу, зашел в ресторан от скуки. Но, пробыв полчаса, он стал жалеть, что зашел сюда. А пойти в незнакомом городе было некуда, и он сидел, наблюдая за посетителями. Судя по всему, тут были главным образом туристы. Зачем они приехали? Что их влекло сюда? И что они увезут отсюда? Осколки, таившие когда-то смерть и теперь безопасные? Ружейные гильзы, позеленевшие от времени? Фотоснимки собственной персоны на фоне фигуры скорбящей матери? Или воспоминание о любовном приключении, случившемся в этих местах?

К столу, за которым он сидел, подошла парочка, разопревшая в танце, заняла свои стулья. Молодой мужчина усадил подругу, поцеловал ее в рдеющую щеку, налил в бокалы вина. Они молча немного выпили и стали закусывать шоколадом, влюбленно глядя друг другу в глаза.

Оркестр на время умолк, и стало слышно позвякивание посуды и приборов, разговор, сливавшийся в нестройный, еще трезвый шумок. Все были хорошо, по моде одеты, выглядели здоровыми и беззаботно уверенными в себе, как выглядят люди на подступах к солидным должностям или уже занимающие их. Так по крайней мере казалось Мите. Еще он отметил про себя, что большинство мужчин были моложе его отца.

«Значит, почти все тут не нюхавшие войны,— решил Митя.— В войну или под стол пешком ходили, или еще не были в проектах...— Поглядывая на веселые, самодовольные лица подвыпивших посетителей ресторана, он неожиданно для самого себя почувствовал гордость.— А вот мой батяка воевал. И ранен... А те... семьдесят с лишним тысяч... зарытые в кургане... они сейчас не были бы еще стариками, могли бы пить вино, танцевать, целовать женщин... У большинства из тех не осталось потомства: они были очень, очень молоды...»

Подобные мысли никогда прежде не занимали его ум и обожгли своей обнаженной сутью мальчишескую душу. Он даже покраснел и отвел глаза от целующихся соседей по столу...

Раздумье Мити прервал оркестр. Ударил барабан, звякнули медные тарелки, заняла скрипка, застонали саксофоны, засвистели флейты, зарокотала труба. Митя пробрался мимо танцующих к выходу, на улице снял душивший галстук, засунул в карман.

9

Когда Митя пришел в общежитие, отец пил чай с сушками.

— Не ожидал, что вернешься так скоро,— сказал отец.

— Хватит, нагулялся.

— Пей чай.

— Не хочу, пива выпил.

Митя разделся, лег на кровать, закинув руки под затылок, смотрел на отца, как тот, разломив сушку в горсти одним сжатым пальцем, клал в рот обломок за обломком, с хрустом дробил зубами, потом запивал чаем.

— Папа.

Отец медленно повернул голову на зов сына.

— Папа, ты встречал кого-нибудь из своих фронтовиков?

— Нет, не доводилось.

— А остался кто в живых?

— Не знаю. Должны быть. Раненых из нашей роты встречал. В медсанбате. А потом разъединили нас. В госпиталях-то сортировали не по службе и не по дружбе, а по увечью. Ну и развезли кого куда.

— Я в газете читал... в Москве, в сквере у Большого театра, каждый год собираются летчики одной эскадрильи. Вот бы вам собраться.

— Интересно бы.

Помолчали.

— Да, так вот. Двадцать восемь лет прошло,— сказал отец, разбирая постель.

— С тех пор, как ты на кургане-то?

— Да. Двадцать восемь!..

— Это чуть не в два раза больше, чем я живу на свете.

— И вот вчера — встреча с прошлым... — Кузьма не договорил и умолк.

Он скоро уснул, а Митя лежал с открытыми глазами. Впервые отец предстал перед ним иным, более значимым, более понятным и более близким. Впервые Митя остро осознал себя частицей отца, его продолжением. И это прозрение удивило его и навело на мысль, что с отцом его связывает не только плоть, но и еще наследство души, хотя они так непохожи друг на друга.

Потом мысли незаметно вернули его в минувший день. В глазах стояли то каменный образ бойца с гранатой в руке, то живой, одноногий человек, плачущий у стены с именами павших, то отец в каком-то непривычном, нетеперешнем облике. Помимо воли воображалось, что это он, Митя, бросает гранату, он бежит с винтовкой... Глаза защипало, и они повлажнели от смешанного чувства жалости к отцу и гордости им.

Среди ночи заворочался на кровати отец, побряхтел, погладил ноющие ноги, долго пытался уложить их поудобнее. В комнате было тихо, но чутьем уловил он, что сын не спит.

— Митя, почему не спишь?

Митя ответил не сразу:

— Да так... в голову лезет разное.

— Спи! — сказал отец ласково и подумал: «Это хорошо, когда думаешь по ночам: значит, взрослеешь».

И опять тихо стало в комнате. Отец и сын лежали не шевелясь, не спали, думая каждый свою думу.

А до конца ночи было еще далеко. Временами чуть-чуть слышно шелестел листвой тополь под окном и в комнату врывались струйки прохлады, пахнувшей цветами, долетали неясные звуки жизни, зовущие к непрестанному движению.

1972—1974